

Вячеслав Андрианович Мироненко варил холодец. Приготовление этого блюда он жене не доверял и вообще относился к процессу как к священнодействию. Он заранее выбирал свиные рульки с копытцами, причём каждую осматривал внимательно и придирчиво, отбраковывая жилистые куски интуитивно. Благо выбирать было из чего: Вячеслав Андрианович работал рубщиком мяса в гастрономе. Рульки он замачивал на ночь в огромной щербатой кастрюле, а с утра, поскоблив копытца и шкуру маленьким овощным ножом, приступал к действию. Соседи по коммуналке старались в такие дни лишний раз на кухню не заходить. А у Мироненко уже горели глаза, мясистое его лицо удивительным образом подтягивалось, а тучное тело становилось лёгким и послушным, как у атлета на беговой дорожке. И даже густые чёрные усы с проседью начинали блестеть.

Семья у Вячеслава Андриановича была большая: жена, три дочери и тёща – полубезумная старуха, раздражавшая всех своим сизифовым шарканьем по коридору. Они жили в двух комнатах в коммунальной квартире. Ещё две комнаты занимала семья Ярослава Поклонского. Тот – вдвоём с женой, детей у них не было. В одной комнате была гостиная и спальня по совместительству, в другой – рабочий кабинет. Поклонский

12

работал товароведом в Гостином Дворе, жена его служила старшим научным сотрудником в музее Октябрьской революции. Строго раз в неделю они принимали гостей, и тогда коммуналка наполнялась интеллигентными людьми с пылающим взором, гости пили хозяйский коньяк, разговаривали страстные разговоры, из-за закрытых дверей раздавался перезвон входившей в моду семиструнной гитары. Расходились гости поздно ночью, а кто-то даже оставался ночевать. Соседи старались не ругаться по мелочам, понимая, что никуда им друг от друга не деться. Их быт связан, спаян прочно и нерушимо до тех пор, пока не наступит в стране коммунизм.

Последнюю, самую маленькую комнатёнку занимал инвалид Славян. В феврале сорок пятого он был ранен и двое суток полз по чужой слякотной земле, вытаскивая командира. Командир выжил, а Славяну оттапали правую ногу чуть выше колена. Жена погибла в бомбёжку, возвращаясь с работы. Детей, сына и дочь, раскидало по детдомам и унесло в эвакуацию. Ещё год после войны Славян (а тогда ещё не Славян, а Вячеслав Михайлович Груздев) наводил справки, искал, ездил по городам, склеивая треснувшую семью. Нынче дети выросли, и семья раскололась окончательно. Вячеслав Михайлович пил, теряя одну работу за другой, и сам не заметил,

как стал для всех Славяном. Сын Дмитрий выучился на инженера и застыдил отца, и только старшая дочь Варвара продолжала изредка его навещать. Но и она старалась не заглядывать в мутные, словно затянутые изнутри паутиной, глаза отца.

Соседи Груздева избегали, сталкиваясь в коридоре, старались проскользнуть по стеночке. Был в этом и стыд здоровых людей перед инвалидом, и брезгливость, и боязнь заразиться. Чем именно они могли заразиться, никто бы толком не сказал, но в этой неопределённости и прятался главный страх. Казалось, две-три фразы с опустившимся мужиком испачкают тебя самого и вирус безысходности проникнет в кровь воздушно-капельным путём.

Холодец вышел роскошным. Застывшая зеркальная гладь колыхалась от малейшего прикосновения, но кулинарный изыск был плотным и вязким, не растекался по тарелке и, приправленный горчицей, таял во рту.

– От нашего стола – вашему, – Мироненко радушно протянул тарелку Поклонскому.

– Вот это от души, тёзка, от души!

– Славяна надо угостить.

Поклонский поморщился:

– Он и так своё возьмёт.

– Позови-позови, сосед всё-таки...

– Ладно.

Подойдя к каморке инвалида, Поклонский остановился, прислушался, а затем интеллигентно постучал три раза:

– Славян, налетай на холодец. Закусишь приличным продуктом... Иди-иди, халя-а-а-ава...

Но в ответ полетел отборный мат вперемешку с мокротным кашлем. Поклонский заулыбался и, уже уходя, ещё раз постучал в дверь.

На кухню Славян приковылял ночью, открыл холодильник и достал тарелку с холодцом. Гулко стучала ложка в тишине коммуналки. Впервые за день мужик поел досыта. То ли от голода, то ли с похмелья, он не услышал угрюмых шаркающих шагов. Бросил невытую тарелку в раковину и обернулся. Прямо на него из полутьмы коридора смотрела безумная старуха, и взгляд её глубоко посаженных глаз был пустым и тяжёлым.

– Не спишь, ведьма?

Старуха ничего не ответила, развернулась и скрылась в темноте коридора, продолжая нести свою бессмысленную вахту.

На шум вышел старший Мироненко, заспанный, в застиранных семейных трусах.

Увидел Славяна, почесал пузо:

– Опять... Самому-то не стыдно? Подошёл бы по-человечески, попросил... Разве я отказывал когда?

Славян, пойманный на месте преступления, расправил плечи, лицо его налилось дурной кровью.

– Вас просить – просилка отвалится.

– Ну конечно-конечно, – закивал Слава Мироненко, – лучше по-тихому, на соседней положить. Это по-нашему, по-русски.

– Ты, Мироненко, клюв свой закрой. Если я положу – ты тяжести не выдержишь.

Оперевшись на костыли, мужик корпусом отодвинул соседа и хромым аистом зашагал по коридору.

Мироненко жалел соседа, жалел и побаивался, как дворового пса. Груздев всю войну прослужил в полковой разведке. Даже у спившегося, даже у покалеченного и опустившегося на дно руки его, пожелтевшие, узловатые, оставались руками солдата, убивавшего в рукопашной. Сам Мироненко был с первых месяцев войны эвакуирован в Челябинск вместе с семьёй и заводом, где тогда работал. Бронь для себя он не выбивал, но и не отказался от неё. В тяжёлые зимние дни сталинградских боёв он работал по двадцать часов в сутки, спал у станка и трусом себя не считал. Значит, такая судьба ему выпала. Только, случайно оказавшись в компании воевавших, тушевался и неловко краснел, но и это списывал на алкоголь.

Коммунальный мир широк и узок одновременно: потроха наружу. В нём невозможно что-либо спрятать и очень легко спрятаться самому. В нём всегда есть своя иерархия и установившийся один раз порядок превращается в традицию, в вековечный обряд.

С утра Поклонские первые занимали туалет и по совместительству ванную комнату. Впрочем, старшинством своим они не злоупотребляли, освобождая помещение настолько быстро, насколько это позволяли потребности организма. Следом в уборную бежали три сестры – Леся, Оксана и Наталка, потом старшие Мироненко. Поклонские завтракали у себя в комнате, Мироненко по обоюдному согласию досталась кухня. Советские люди собирались в школу и на работу, и только инвалид да безумная старуха не топились являть себя миру.

Когда все уходили по своим делам и квартира пустела, Славян покидал каморку, ставил

на плиту свой чайник и подолгу глядел в окно. Вода выкипала, чайник шипел и булькал, ходила взад-вперёд по коридору безумная старуха. Мир скукоживался в одной точке: в маленьком шрамике над переносицей – след прошедшего вскользь десантного ножа. И этих размеров миру вполне хватало.

Завтракал Славян лениво, без аппетита, подрезая куски соседских продуктов в холодильнике. Впрочем, лишнего не брал. Так уж устоялось. Соседи прятали еду в комнате, зимой вывешивали из окна авоськи с мясом и колбасой, но в комнате продукты портились, с улицы их клевали птицы. Ругань мужик не воспринимал, слушал вполуха. Наконец, махнули на всё это рукой и оставили как есть, осознав, что ход вещей задан не ими и не им его нарушать. Пособие по инвалидности Славян пропивал быстро, какие-то продукты подкидывала дочь, худосочная и тихая девушка, но их хватало ненадолго. Дочь заходила раз в месяц, прибиралась в комнате, с соседями вела себя боязливо и даже пришибленно, как юродивая. С ней пробовал заговаривать Мироненко от широты своей малоросской души, но девушка тушевалась и бормотала под нос что-то невнятное. Бледные щёки её чуть розовели.

Если Славян в такой день был пьян, то он надсадно ругался, выхаркивая камень из груди:

– Ждёшь моей смерти, чтобы с ублюдком своим вселиться? Ну жди-жди... Долго ждать придётся.

Дочь молча мыла полы. Потом так же молча оставляла продукты в холодильнике и уходила, неловко обуваясь в узком коридоре. Как заблудившийся ангел.

После завтрака Славян одевался и выходил во двор. Перед тем как выйти из квартиры, он выискивал в прихожей обувь Поклонских и смачно плевал в соседскую туфлю.

Двор. Тут отпускало, дышалось вольнее. Старики рублились в вечное домино, малышня гоняла мяч. Доминошники, завидев ковыляющего Славяна, стихали и внутренне подбирались, смолкал говор, и только тихое «шу-шу-шу» гладило стол. Славян знал ритуал и не обращал внимания.

Наконец, когда мужик на костылях уже заворачивал под арку, из-за стола неслось:

– Славян, когда в космос полетим?
– Когда у тебя в ... чесаться перестанет.

Двор взрывался от хохота, а Славян степенно вышагивал дальше, на улицу. Эта присказ-

ка была у него любимая. На фронте услышал и присвоил. Доминошники каждое утро придумывали новый вопрос для Славяна, с подковыркой, но в ответ всегда неслось одно и то же. На этом и держалась сладость ритуала.

Дальше – рюмочная за углом, безымянная, как и все советские рюмочные, но для своих она называлась «Куба». Братство народов было ни при чём, просто над стойкой висела фотография, вырезанная из «Огонька»: коренастый Хрущёв обнимает самоуверенного Фиделя Кастро. Всего лишь крепко обнимает. Целоваться генсеки начнут гораздо позже. В «Кубе» Славяна знали, в долг не наливали, но знакомые угощали почти всегда. За Славяном никогда не ржавело.

В рюмочной, как и в коммуналке, его жалели и опасались. Один раз ввалилась залётная компания, три молодых парня, приبلатнённые, разговаривают по фене. Славян обычно пил один, и компания подседа к нему за столик. Главный у них был весь в наколках, а лицо рыбье, глаза лупатые, как у окуня. Его и звали Рыба промеж собой. Никто в рюмочной не слышал, из-за чего вышел спор, только Рыба вдруг поднял кружку пива и медленно вылил инвалиду на голову. Кодла заржала. Славян не думал. Он не умел думать в такие моменты. Просто рванулся, опрокидывая стол, и страшными своими пальцами вцепился Рыбе в горло. Его топтали ногами, хватили за культю, силаясь оттащить, оторвать. Но Славян не чуял тела. Душа его нырнула в руки и вся сосредоточилась в пальцах. А сам мужик не чувствовал боли, только улыбался от ярости, и ещё дрожали вздувшиеся жилы на лбу. Кодлу быстро помяли – народ в рюмочной не терпел беспредела. Руки Славяну разжимали четыре здоровых мужика, и когда его всё-таки оттащили, Рыба долго ещё лежал на спине и хрипел, втягивая воздух по глоточку.

Так проходили дни. Отстроенная после войны страна неслась вперёд, на глазах менялась эпоха, и люди шалели от взятого разгона. Только Славян ничего не замечал. Его миру хватало места.

Из «Кубы» он возвращался тяжело и внушительно. Нога безвольно болталась, шаркала по асфальту. Ей едва хватало сил выносить себя вперёд. Но работали руки. Плечи дрожали, но держали вес, и Славян нёс себя до дома, стыдась расслабиться и упасть в канаву.

Однажды у Леси, старшей дочери Мироненко, пропали золотые серьги. Утром, собираясь

в школу, она оставила их на зеркальце в общей ванной, днём хватилась, а вечером не нашла. Девка – в слёзы. Отец покраснел, как обычно он делал в ситуациях, когда решение уходило из-под контроля, запыхтел в усы.

Поклонский, собирая на кухне ужин, обозначил:

– Давно говорил, с благотворительностью пора заканчивать.

Мироненко молчал.

– Участкового вызвать, и все дела. По нему тюрьма плачет.

– Ну ты погоди, сосед...

– А что «погоди»? Что? Мы на работе весь день, а он тут один. Может, у него уже ключики ко всем комнатам подобраны? Почём ты знаешь? Я не хвастаюсь, но у меня... тоже есть ценные вещи. Мне ждать теперь, пока он до меня доберётся? Тоже мне, герой войны. Пьянь!

Поклонский нервничал. Глаза горели справедливым гневом. Вышла жена Поклонского Ирина и поддержала мужа:

– Надо милицию вызывать. Что тут ещё думать?

– Ну когда, когда вызывать? Вечер на дворе. Давай Славяна дождёмся, спросим...

– Ага, так он тебе и сказал.

И в этот момент зашворкало в коридоре. Вскинула голову заплаканная Леся, с упреком посмотрела на отца. И Вячеслав Андрианович встал, сложно и неуверенно, ещё больше покраснел и вышел в коридор. За ним потянулись остальные.

– Ну здравствуй, сосед, – начал Мироненко.

Славян не ответил, пьяно ковылял к своей комнате.

– А чего молчишь? Чего молчишь? – завелась жена Тамара. – Зенки залил и молчит. Где серёжки? Пропил, алкаш?

Славян остановился, обвёл трудным взглядом соседей.

– Да что с ним разговаривать, милицию надо вызывать, – сквозь зубы выдавил Поклонский и отвернулся.

– Ну удружил, сосед, – окреп в голосе Мироненко. – Продукты – чёрт с ним. Не бедствуем, слава Богу. Терпели. Спускали. Думали, герой, войной покалеченный... А ты вот как отплатил, – и, враз покраснев, напуская на себя ярость, завизжал: – Серёжки верни, подлец!

Славян стоял пьяный и добродушный, качался из стороны в сторону и улыбался. С ниж-

ней губы свисала тягучая слюна. Он заваливался вперёд на костылях, и казалось, что вот-вот клонит носом в пол, но в последний момент сильные руки напрягались и удерживали его в вертикальном положении.

Мимо всё так же шамкала полубезумная старуха, из стороны в сторону, по всей длине коридора, от входной двери к туалету.

И вдруг младшая дочь Мироненко, Наталья, радостно вскрикнула и показала пальцем на бабу:

– Смотрите-смотрите! На уши смотрите!..

В морщинистых мочках блестели золотые серёжки.

Поклонский плюнул и ушёл в свою комнату вместе с женой. Мироненко стоял и продолжал дрожать. Жена уволокла его. Дочки хмыкнули и рассосались. Славян языком подбирал свисающую слюну. Доковылял до комнаты, закрыл за собой дверь и грохнулся на пол.

Беда пришла внезапно, как ей и положено. Холодильники на складе гастронома Мироненко мыл раз месяц. Перед этим по очереди размораживал, выкладывая свиные и говяжьи туши на разделочные столы. В нарушение всех инструкций лёд он скалывал молотком. Оттого не заметил, как что-то треснуло в металлическом корпусе и бесшумно потёк фреон. Дело было в пятницу, в начале апреля, и за выходные двести килограммов мяса непоправимо стухли, не дотягивая даже до второй свежести. Апрель выдался тёплым. После январской реформы цены на мясо подскочили. Общий ущерб государству составил девятьсот двадцать четыре рубля сорок семь копеек. Таких денег Мироненко никогда не видел, не представлял, чтобы такая сумма могла разом наводиться в одних руках.

Когда в понедельник утром Мироненко открыл холодильную камеру и в нос ударил тёплый сладковатый запах, хватило нескольких секунд, чтобы всё понять: и что случилось, и что будет дальше.

Он побледнел и на ватных ногах поднялся на второй этаж гастронома, в кабинет заведующей.

– Пойдём, Марья Борисовна.

– Что такое?

– Пойдём.

Потом курили на заднем дворе. Заведующая была хваткой бабёнкой, на Мироненко ей плевать, но если всё вскрыется, если приедёт ре-

75

визор и составит акт – не усидеть и ей в своём кресле. Это она тоже прекрасно понимала.

Мироненко стоял высветший, спокойный и безучастный. Впереди – тюрьма.

– Значит, так, – начала заведующая, – сейчас ко мне пойдём, всё посчитаем. Внесёшь деньги до завтрашнего утра – замнём дело. Мужик ты хороший, жалко...

На короткое время появилась надежда, преобразила лицо Мироненко, и он задрожал, закрипел зубами. Но надежда умерла, когда оформилась сумма. Таких денег у него не было. Такие деньги нельзя было взять в долг за один день.

– А ты извернись, хоть белугой вой, а найди, – закричала Марья Борисовна истощено и бесполезно. – Иди.

Весь день Мироненко вертелся ужом на тарелке, носился по городу, звонил, упрашивал, клянчил, плакался, продавал серёжки, обручальные кольца и даже сдал в комиссионный магазин новенький телевизор «Рекорд-А». Друзья и знакомые помогали чем могли, но это были крохи.

Сосед Поклонский развёл руками и вынес пятьдесят рублей:

– Чем могу, Слава, чем могу...

К вечеру Мироненко устал. Он собрал четыреста рублей, но всё это было бесполезно, не набиралась даже половина суммы. Жена с дочками сидели в комнате, стараясь не показываться никому на глаза. Во всей квартире поселилась сдавленная тишина, настолько вязкая, что сквозь неё приходилось прорываться почти физически, разрывая руками липкую пустоту. И только старуха продолжала ходить из стороны в сторону, ничего не замечая.

Славян по обыкновению сидел в своей комнате и заковылял на кухню лишь ночью. Горел свет, за столом сидел Мироненко и бессмысленным взглядом буравил стену. На лбу блестели капли пота, топорщились густые усы в разные стороны, как будто их прочесали ёршиком против шерсти. На столе стояла кружка с остывшим чаем. Мироненко оторвался от стены и перевёл взгляд на инвалида. Глаза с усилием обретали фокус.

– А-а... Сосед... Проходи. Пожрать пришёл?

Славян стоял в проёме двери и не мигая смотрел на Мироненко.

– Ну пожри-пожри. Что хочешь бери. Ничего теперь не жалко. Ну, чего ты стоишь? Тамара котлет нажарила. Вкусные, с чесночком, тают во

рту... – он запнулся и наконец впервые зарыдал, уронив голову на стол.

Рыдал он долго, а Славян всё это время стоял и смотрел на соседа. Видел, как ходят ходунком полные плечи, впитывал булькающие, задыхающиеся звуки мужского плача.

Мироненко поднял голову. Глаза были мокрые от слёз, и оттого круглое лицо соседа приобрело детскую сосредоточенность.

– Я ведь не рвач, Славян, не паскуда. Толком ничего за жизнь не скопил. Думаешь, не знаю, как весь двор за спиной шепчется, что, мол, на мясе сижу, мол, горы золотые под подушкой ховаю... А где эти горы? Нет этих гор. Да, домой таскал. А кто не тащит? Все тащат. Но налево ни грамма не толкнул. Думаешь, легко такой выводок содержать? Ещё и тебя, болезного, подкармливать?.. Все на моей шее сидели, спину грызли. А где сейчас Мироненко? Кончился Мироненко. И даром теперь никому не нужен.

Даже голос стал детским, тонким и пронзительным. И смешно шевелились пухлые губы. Славян улыбнулся против воли.

– Смешно, да? Ну посмейся, посмейся, сосед. Может, у тебя полтыщи есть в долг?

– Новыми? – спросил Славян.

– Новыми.

– Нет, новыми нет.

Мироненко полминуты смотрел на соседа удивлённым взглядом, а потом визгливо захохотал:

– А что, старыми, что ли, есть? А? Ой, насмешил... Ой, умора, сосед...

– Старыми тоже нет.

Мироненко продолжал смеяться, а потом без перехода уронил голову на руки и подавился страшными мыслями.

Всю ночь Груздев не спал, ворочался с боку на бок. Изредка проваливался в тяжёлый и мурный сон, но тут же выныривал из него. Сердце грызла тоска.

Окончательно проснулся раньше всех, вслушивался, как просыпается дом: булькала вода в батареях, что-то скреблось, шуршало, потрескивало, скрипело... Маленький верткий домовый праздновал юбилей и позвал гостей со всего города. И они балагурили, пока жильцы спали крепким советским сном.

Когда квартира проснулась, в коридоре раздалась заспанная голова и шарканье тапочек, Груздев неторопливо поднялся, накинул пиджак и заковылял в ванную. Долго скрёб щетину ту-

пой бритвой. В комнате он открыл старенький шкаф с болтающимися дверями и на самом дне его отыскал деревянную коробочку. Сунул её в карман и заковылял к Поклонским.

Поклонские завтракали у себя в комнате. Дверь открыл Ярослав, в нос ударил запах уюта и жареной колбасы.

– Чего тебе, Славян?

– Дело есть. Поговорить надо.

– А до вечера не терпит?

– Не терпит.

– Ну подожди, сейчас доем – выйду.

Он вышел через пятнадцать минут и направился к кабинету.

– Пойдём.

В кабинете было просторно. По центру стоял стол с пишущей машинкой и стопкой желтоватой бумаги, стул, небольшой диван. Вдоль стены – книжный шкаф со множеством разных папок.

– Чего тебе?

Груздев заковылял к столу, достал из кармана деревянную коробочку и открыл её.

– Вот. Продаю.

На стол один за другим легли три ордена. Две серебряные звезды и одна золотая. Колодки обтянуты лентой с оранжевыми и чёрными полосами. По центру – Спасская башня Кремля и одно короткое слово «СЛАВА» на красной эмалевой ленточке.

Поклонский трудно сглотнул и сосредоточился. Юрко посмотрел на Славяна:

– Твои?

Груздев не ответил, глядел на потемневшие от времени награды, по которым было видно, что их как положили в деревянную коробочку один раз, так и не вытаскивали на свет.

– Сколько?

– Пятьсот.

Поклонский усмехнулся.

– Не стоят они этих денег.

– Пятьсот.

– Триста. И то, Слава, из очень большого уважения.

– Мне нужно пятьсот.

Поклонский всю войну провёл в тылу, занимался снабжением фронта, но даже он знал, что орден Славы выдают в строгой последовательности: от третьей степени к первой, и перескочить этот порядок нельзя, и полных кавалеров можно по пальцам пересчитать. Он протянул руку к наградам, аккуратно взял золотую звезду, взвесил её, что-то прикидывая в уме.

– А эту за что?

– На ногу обменял, – просто ответил Груздев.

– Четыреста.

– Пятьсот. Орденскую книжку в довесок дам.

– Без ножа режешь, – светился Поклонский, любовно поглаживая ордена, прикидывая, кому и за сколько сможет их перепродать. – Я сейчас.

Он вернулся через три минуты и отсчитал пятьсот рублей новенькими фиолетовыми купюрами с профилем Ленина. Груздев спокойно пересчитал и убрал деньги во внутренний карман.

– Ну, может, по пять капель? Обмоем? – улыбался Поклонский, доставая из воздуха бутылку дагестанского коньяка.

Славян сглотнул, кивнул странно, неуверенно.

Поклонский разлил по стопкам, пригубил коньяк, покатал напиток на языке, а Груздев шумно выдохнул и опрокинул в себя алкоголь. И сразу же вороватым движением схватил бутылку и запрокинул её в себя. Под презрительным взглядом Поклонского заходил кадык: вверх-вниз, вверх-вниз...

Когда Груздев зашёл на кухню, Мироненко продолжал сидеть за столом, перед ним дымилась кружка с горячим чаем. Глаза мужчины были красными, пустыми и воспалёнными. Мироненко посмотрел на соседа, но, верно, не узнал его. И не было сил в голове, чтобы напрячься и узнать.

Груздев достал из кармана деньги и бросил на стол:

– Пятьсот.

И заковылял к себе в каморку.

Через пять минут раздался робкий стук. На пороге стоял Мироненко со всей семьей.

– Чего вам?

– Вячеслав Михайлович... Сосед... – голос его надорвался. Он на ватных ногах подошёл к Груздеву, медленно опустился на колени и заплакал.

– Сдурел, что ли?

Мироненко схватил ладонь Груздева и потянулся к ней губами.

– Я Бога за тебя молить стану... – плакал и дрожал, плакал и дрожал.

Кусала губу жена, теребя нервными пальцами складки халата. Молчали дети.

Груздев грубо оттолкнул соседа.

– Бога нет. Давайте, давайте...

Когда все разошлись, Груздев вышел в коридор и заковылял на кухню. Поставил чайник.

Подошёл к окну. Наград было не жаль. Только с прежней жадностью хотелось выпить. Он вспомнил, как с прострелянной ногой тащил раненного в живот командира. Ползли несколько суток и всё никак не могли доползти. И во время очередного привала, когда сердце выпрыгивало из груди, Груздев прохрипел: «Когда уже дойдём?» – «Когда в ... чесаться перестанет», – просипел командир.

Вдруг что-то изменилось в мире. На улицу выбегал народ, все кричали яростное, неразборчивое, обнимались, подбрасывали кепки в воздух.

Груздев разволновался, открыл скрипучую створку окна:

– Эй, братва, что случилось-то?

– Включай радио, чудак! Мы в космос полетели!

И вся улица шелестела незнакомым: «Космос, космос», «Гагарин, Гагарин».

Груздев торопливо заковылял к радиоточке в коридоре, щёлкнул тумблером, и из приёмника донеслось левитановское: «...чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею».

Сердце вдруг застучало часто-часто, как перед атакой, а к горлу подкатил горький ком. Из раскрытого окна неслось: «Слава герою! Слава советскому человеку! Ура, братцы! Ура-а-а!».

Груздев стоял в тёмном коридоре, губы его дрожали. Нестерпимо чесалась покалеченная нога.

